

Дом на окраине

Отец Оли не вернулся с фронта, поэтому, когда в школе её сосед по парте Колька Воробьёв хвастался пистолетом, выструганным из дерева его отцом, девочку душила обида.

– Батя сказал, найдёт для меня работу в колхозе, – поведал однажды Колька, а Оля выбежала из класса и долго плакала, сидя на крыльце школы. Никто не мог понять, в чём дело, и директор Пётр Афанасьевич даже спросил, не Колька ли её обидел. Девочка отрицательно мотала головой, размазывая по щекам крупные солёные капли, и плакала, плакала, плакала...

Колькин отец вернулся, щеголяя медалями, а её папка остался лежать в германской земле на высотах со страшным названием Зеловские. Олю всегда пугало это слово, от которого, казалось, так и веяло могильным холодом.

Осенью она снова пошла в школу. Уговаривала маму разрешить ей работать на ферме, но та заявила, что сейчас для Оли главное – учиться.

– Папа гордился бы тобой, – шептала она, расчёсывая русые волосы дочери, и плакала. Совсем как Оля минувшей весной на крыльце школы. Слезы текли по щекам, а мама твердила срывающимся голосом: – Ничего, Оленька, ничего. Всё будет нормально. Ты, главное, Боженку попроси, помолись, а Он поможет, не оставит нас.

И девочка молилась. Однажды, когда она случайно сказала об этом тёте Тамаре с соседней улицы, та заявила, что, если бы Бог существовал, Он бы никогда не позволил стольким мужикам из их села сгинуть на войне. А раз уж похоронок пришло почти три десятка, то нет никакого Бога.

Но Оля молилась всё равно... Вечерами, забравшись по скрипучей лестнице на чердак, она долго вглядывалась в ночную тьму и молилась. Бог представлялся ей высоким крепким мужчиной в маршальском кителе. Он шёл по изрубленной осколками земле и отводил пули от советских солдат, выносил на себе раненых. Ей грезилось, что вот сейчас Бог дойдёт до той воронки, рядом с которой лежит её папка. Подойдёт, поможет подняться и скажет: «Живи, Иван Артемьевич. Ты нужен дочери». Она надеялась, что вот сейчас... Но когда Бог с лицом маршала Жукова уходил во тьму на поиски папки, девочка уже крепко спала.

Это был её Бог. Не тот странный, полураздетый мужчина на кресте, и себя-то не сумевший защитить, а маршал-победитель, который непременно вернёт ей отца.

В конце сентября, когда урожай на колхозном поле был собран и дети сели за школьные парты, Оля поссорилась с Колькой. Глупый мальчишка опять рассказывал всем, как хорошо его батя умеет стрелять из ружья и, дескать, именно поэтому он вернулся с фронта живым. Оле хотелось крикнуть: «Мой папка стрелял лучше! Он был охотником!» Но она лишь с обидой смотрела на вредного одноклассника и старалась не заплакать, а, когда Колька опять заговорил про отца, назвала его дураком и Гитлером.

Расстроенная, в слезах, она выбежала из здания школы и помчалась прочь. На окраине села остановилась перевести дух и разрыдалась. Опустившись на траву возле крайнего от реки дома, девочка несколько минут сидела, закрыв лицо ладонями. Когда слёзы наконец перестали сочиться из глаз,

Оля огляделась. Справа, сокрытое пеленой изморози, раскинулось село. Слева змеилась река, к которой по косогору спускались картофельные поля.

А за спиной девочки высился старый бревенчатый дом. Он стоял на отшибе, заросший со всех сторон высоким бурьяном, с заколоченными окнами и ржавым амбарным замком на дверях.

Оля не помнила в лицо хозяина этого мрачного жилища. Она знала о нём лишь из маминых рассказов да из обычного трёпа Кольки Воробьёва. Мама рассказывала, что раньше в доме жил морской офицер с семьёй, но когда началась война, за офицером с семьёй прислали машину. Офицер и его домочадцы быстро скидали необходимые вещи в кузов грузовика и отбыли на одну из военно-морских баз. Колька же добавлял к этой истории, что офицер обещал вернуться в село, как только война закончится. Дескать, услышал об этом он от своего папки... от своего бати. Но, как бы то ни было, никто в дом на окраине не вернулся. Тщетно осенние дожди стучались в запёртые двери, барабанили по заколоченным окнам. Дом, словно верный пёс, ждал своих хозяев.

Оля поднялась с травы, отряхнулась, вытерла краешком платка вновь проступившие слёзы. Она была как этот дом – ждала отца, спустя долгие месяцы, и верила до последнего.

Раздвигая траву, она подошла вплотную к стене дома. Старый, некогда добротный сруб уже давно просел, врос в землю, и теперь окна, до которых Оля раньше не смогла бы допрыгнуть, находились на уровне её лица.

«А может, это я выросла?» – мелькнуло в голове, и девочка слабо улыбнулась.

Оля подумала, что, будь ставни открыты, она смогла бы без труда заглянуть в окно, даже не приподымаясь на цыпочках. Просто подойти и заглянуть. Осторожно коснулась прогнившей рамы и только теперь поняла, что стоит перед застеклённым окном, а вовсе не перед почерневшим от времени деревянным щитом. Да и стёкла в окне были не грязные и мутные, а чистые, словно только сегодня их омыл дождь или кто-то бережно протёр тряпицей.

Это было странно, но Оле вдруг больше всего на свете захотелось заглянуть через окно в старый дом морского офицера. Так она и сделала. На мгновение зажмурилась, будто боясь, что всё это – лишь наваждение, а потом резко распахнула глаза, и её дыхание же перехватило от восторга. Перед окном стоял большой, накрытый клеёнчатой материей стол, на котором лежало бесчисленное множество морских раковин, стояли всевозможные статуэтки.

– Здравствуй, – прозвучало со стороны сеней.

Оля вздрогнула и обернулась. На крыльце стоял невысокого роста полноватый седой старик.

– Я думала, тут всегда закрыто, – растерянно прошептала девчушка. – Всегда было заколочено. Ещё с начала войны...

– Сейчас я тут живу, – добродушная улыбка озарила лицо собеседника, отчего в уголках глаз появились паутинки морщин. – Понравились ракушки? Видела когда-нибудь такие?

Оля отрицательно мотнула головой.

– Если хочешь, можешь зайти и послушать, – смиловился старик.

– Послушать? – удивилась Оля, стирая с лица последние слёзы. – Это как?

– Говорят, там можно услышать шум моря, – заговорщически произнёс дед. – Заходи.

Оля вслед за стариком прошла через сени в просторную светлую комнату и ахнула. Все стены комнаты были увешаны разнообразным оружием: большие кованые мечи в узорных ножнах, тяжёлые палицы, грозного вида винтовки с аккуратными складными прикладами. В углу покоился огромный круглый щит, и стояли, прислонённые к стене, копьё с тяжёлыми каменными и металлическими наконечниками.

– Ого! У вас тут настоящий музей. Как в городе...

– Нравится?

– Очень, – девочка заворожённо разглядывала развешанные по стенам картины.

На одной был изображён мужчина в пиджаке на фоне трёхцветного полотнища. Чем-то этот худощавый лысоватый дядька напомнил Оле товарища Ленина, но она предпочла не говорить об этом хозяину дома.

Вторая картина была и вовсе фантастичной – заснеженная площадь, мавзолей с надписью «Ленин», а вокруг – люди в странной одежде, сжимающие в руках небольшие прямоугольные предметы, напоминающие портсигары.

– Это Москва, да?

– Москва, – кивнул хозяин дома. – Красная площадь. Январь две тысячи...

Он осёкся и замолчал.

– Хороший художник, – заполнила неловкую паузу юная гостья, – но люди какие-то...

– Какие?

– Не такие какие-то. Все грустные и, по-моему, злые...

– Да, люди там не те, что прежде, – хмыкнул старик. – Это фотограф... ну, то есть художник и пытался показать.

– А вот этот, – девочка указала на портрет мужчины, в котором отыскала сходство с товарищем Лениным, – как Владимир Ильич, но без бороды.

Дед засмеялся.

– Вроде того. Всё в жизни повторяется – и партия и вождь. Ты будешь море слушать?

Оля кивнула.

Старик прошёл через комнату, взял со стола небольшую сине-зелёную ракушку и подал девочке. Та прижала ракушку к уху, затаила дыхание. Из недр морского сокровища донеслись резкие, хриплые звуки, будто кто-то быстро-быстро колотил палкой по плотной ткани.

– Это море? – удивилась девочка.

– Наверное, я не ту тебе дал... В этой вертолёт, – пояснил хозяин дома, принимая ракушку из рук ребёнка. – Ка пятьдесят два... Но это не важно.

Он замолчал, потом сказал словно сам для себя:

– Это ещё не скоро. Странно, вроде море было в этой... Или там теперь тоже стреляют?..

– А другие ракушки? Там тоже ирталёт?

Дед встрепенулся:

– Что?.. А, нет... В каждой что-то своё. Я даже сам не знаю, что в некоторых. Но в какой-то из них точно было море. Просто море. Я помню...

Оля взяла со стола большую яркую ракушку и принялась вслушиваться в доносившиеся из её утробы звуки.

– Тут тихо, – наконец произнесла она со вздохом. – Нет моря. И ирталёта нет.

Старик бросил на ракушку холодный цепкий взгляд, потом поглядел на девочку и вымученно улыбнулся.

– Это тоже не скоро... Там нет ничего... потому, что ничего не будет.

– Где? – не поняла Оля.

– На Земле, – уклончиво ответил старик. – Но это будет ещё очень не скоро. После войны.

– А вы тоже с войны?

– Я видел много войн, – хозяин дома помрачнел.

Казалось, спроси его сейчас о виденных им войнах, и он не выдержит, расплачется.

– А как вас зовут? – неожиданно даже для себя спросила девчушка.

– Пётр, – старик приосанился. – А тебя зовут Оля.

– Откуда вы знаете?

– Я многое знаю. – Пётр с прищуром поглядел на ребёнка. – Раз уж море тебе послушать не довелось, может, тебя хоть чаем напоить? Будешь чай?

– Если можно... – растерянно пролепетала девочка.

– Можно, – дед Пётр улыбнулся. – Ты пока смотри тут всё, но руками не трогай. А я чай вскипячу.

Оля кивнула и вновь погрузилась в созерцание завораживающего великолепия. Сначала она долго рассматривала изящную статуэтку женщины с рыбьим хвостом, затем увидела на столе странную фигурку из жёлтого металла, изображающую мужчину в длинной, похожей на платье одежде. Оля улыбнулась, представив на миг, как вот в такой же нелепой рясе заходит в класс её сосед по парте Колька Воробьёв. Она засмеялась, хотела взять статуэтку и рассмотреть со всех сторон, но вовремя вспомнила, что дед Пётр запретил трогать предметы руками. Тогда она подошла к другому краю стола и принялась разглядывать большую золочёную корону, острые зубцы которой были усеяны красными, зелёными и голубоватыми камнями. Искрящиеся камушки так увлекли Олю, что она на время забыла и про бестолкового Кольку, и про деда Петра, который ушёл кипятить чай. Лишь чарующий блеск был ей важен и интересен.

Заскрипели половицы, и из соседней комнаты появился хозяин дома, неся с собой два стакана с чаем.

– Не часто ко мне гости заходят, – Пётр поставил стаканы на краешек стола, принёс два табурета и, сев на один из них, пристально посмотрел на Олю. – А ты чего плакала-то?

– Когда? – девочка провела ладонями по щекам, чтобы удостовериться, что её слёзы не видны.
– Когда возле дома сидела. Я в окно видел.
– Просто плакала. Грустно потому что. – Оля старалась не встречаться взглядом со стариком. Подтянула к себе стакан с чаем и вдохнула необычный аромат напитка.
– С бергамотом, – заметив её удивление, объяснил Пётр. – Из пакетика, правда, но уж какой есть. Он немного помолчал, потом добавил:
– Я же тебе говорил, что многое знаю. Вот и про папку твоего мне тоже известно. О нём плакала, да? Девочка с тоской взглянула на собеседника.
– Он на войне погиб, – сказала она так тихо, что, казалось, Пётр не услышит, но он услышал.
– Так бывает.
– А вы верите в Бога? – внезапно спросила Оля и сжалась, боясь, что сейчас дед начнёт кричать: «Бога нет!», как это обычно делал председатель. – Мама сказала, надо Боженьке молиться, и всё будет хорошо.
– Верю ли в Бога? Верю, – в больших печальных глазах старика блеснули слёзы. – Твоя мама правильно говорит.
– Папка в раю, да?
Пётр залпом допил оставшийся чай и кивнул. Больше девочка ничего не спрашивала. Она прихлёбывала странный напиток и попеременно глядела то на причудливые ракушки, то на хозяина дома.
– Тебе пора, – ещё раз посмотрев на молчащую ракушку, хрипло сказал старик.
Оля послушно поднялась и направилась к двери. Она не хотела уходить. Сколько невысказанных вопросов! Сколько тем для разговоров! Но, послушная тихому голосу Петра, шагнула в сени, а затем – на крыльцо.
Пётр подождал у дверей, пока девочка свернёт на тропку, ведущую в село, прошёл в комнату и опустился на табурет.

– Всё войны, смерть, слёзы, – прошептал старик. – Что же вы делаете, люди?!
Дом отозвался давящей тишиной.
Старик взглянул на часы. Электронный хронометр «Монтаны» показывал «16:40». Пора...
В очереди за хлебом успокоит он старушку, потерявшую сына при штурме Грозного, выпьет со старым солдатом, единственного сына которого привезли в цинковом гробу из Кандагара. А потом – туда, на опалённый войной Кавказ, где человек по фамилии Лермонтов просит Спасителя избавить Россию от войны.

Не поверит никто в рассказ девочки Оли о старике. Да и не будет через двадцать минут в доме ни статуэток, ни мечей, ни ракушек, из которых доносится стрёкот автоматных очередей и рёв работающих по мирному Цхинвалу установок «Град». Ничего не будет. Останется лишь на окраине села пустой старый дом с заколоченными окнами, хозяин которого не вернулся с войны. Пётр появится в другом месте и в другое время, там, где он нужен, чтобы поддержать тех, кого не обошла стороной война. Это его работа и его крест.

По весне

Дачный посёлок по весне напомнил ему заброшенное кладбище: заросшие бурьяном, заваленные прошлогодней ботвой участки. Вместо поваленных оградок – поломанный штакетник. Илья Иванович знал хозяев доброй половины здешних дач. Вон там ещё не до конца растащенный на кирпичи двухэтажный домина без крыши – дача советского чинуши, тяжело заболевшего в девяностые и умершего в начале двухтысячных. Ну и куда ему двухэтажное дачное надгробие? С собой забрал? А таких вот дач без хозяев или с новыми хозяевами с каждым годом всё больше. Идёшь себе по аллее, видишь за кустами людей в спецовках, жгущих старую ботву, кричишь им:

– Звягины!

Оборачиваются, а это не они.

– А Звягины тут уже не сажают, мы дачу купили, – говорит кто-нибудь из новых хозяев.

Остаётся лишь протянуть тоскливое: «Извините, обознался...»

Как на всяком кладбище, встречаются целые домики, аккуратно побелённые, с целыми дверями, относительно ровными заборами. Тут явно рачительные хозяева. «Родительский день» для двух-трёх поколений начинается в мае и длится до октября.

Работавший до выхода на пенсию водителем автобуса, Илья Иванович частенько вспоминал, как летом ему доверяли дачный маршрут. В восьмидесятые было много молодёжи, спешащей на дачу. В девяностых – сплошь старушки. Теперь же контингент разный, но в основном все люди моложе пятидесяти пересели на машины и добираются своим ходом. Скучно стало ездить в дачном автобусе с такими же, как он, стариками, все темы разговоров с которыми уже измусолены, аки вставная челюсть. Хотелось поговорить с кем-то помоложе, узнать новости, понять, чем дышат люди на десять-двадцать лет старше его.

Прогулка по разорённым дачам без попутчика – полезное в физическом плане, но беспросветно тоскливое занятие. Домишки, похожие на брошенные скворечни, почерневшие, иссохшие калитки, наспех перехваченные проволокой, скрипящие на ветру.

Сегодня Илье Ивановичу повезло. Параллельно ему по соседней аллее шла женщина лет пятидесяти, вела в руках велосипед. Илья узнал её и кинулся через ближайший проход между дачами навстречу.

– Игнатова, – замахал руками, – Петровна!

Женщина остановилась. Поправила сползшую на глаза косынку, прищурилась, пытаясь понять, кто позвал её по отчеству.

– На дачу, да? – уже шёл к ней старик, понимая, что нашёл себе попутчика.

– А! – наконец признала его женщина. – Иванныч... На дачу, куда ж ещё. Надо хоть посмотреть, что с избушкой, забор подлатать. Говорят, опять по дачам лазали.

– Лазали, – со знанием дела подтвердил Илья. – Я зимой ходил тут: заборы поломаны, в домиках все двери нараспашку.

– А что тут искать-то? Уже весь металл, какой был, разворовали.

– Это да... А они на пакость теперь. Моя вон в избушке по осени всё прибрала, коврик старый постелила, кровать заправила. Шторочки там всякие. Всё перевернули, аж тошно. Хоть ничего не делай. Ещё столбы металлические повывирали.

– Да, – закивала Игнатова, – точно. Ко мне сын приезжал прошлым летом, я ему говорю: «Давай все металлические столбы вытащим и заменим на деревянные, чтобы никто забор не поломал, если придут за металлом». Он пытался-пытался их раскатать, убил день на один столб. А эти махом все восемь выдрали. Силы, видать, много.

– Это они по весне, пока земля оттаивает. В это время столбы как по маслу выдёргиваются. Я вон тоже хочу весь металл к чёртовой матери сдать, чтобы не лазали. Так ведь не отвадишь! Будут каждый год забираться, что-то искать. Моркошка подрастёт – выдерут, лук – туда же.

– Во-во, – дачница закивала. – Мы надрываемся, дачу уноваживаем, сорняки выпалываем. А они пойдут, продадут, на бутылку заработают и радуются жизни. Я тут на рынке прошлым летом с одной ругалась. Пьянчуга с пристани. У неё дачи отродясь не было. Всю жизнь бичевала, сколько её помню. А тут сидит, «викторию» продаёт. Я подхожу: «Откуда клубника?» – «С дачи», – отвечает. Я говорю: «С чьей дачи?» – «Да с моей». Я говорю: «Ах ты, бесстыжая! Нет у тебя дачи». У кого-то наворовала и торгует сидит.

– Всё так. У меня родственники однажды, пару лет назад, приехали на поле картошку копать, а там какие-то крепкие ребята уже половину поля опростали и копают, как будто так и надо. Они с вопросом: «Вы какого чёрта тут делаете?» Те отвечают: «Наше поле!» Родственники мои: «Нет, наше!» А один из бугаёв такой: «Иди, старпёр, отсюда подобру-поздорову, пока не прикопали». Ну, он и сел со своей бабкой на пустые мешки.

– И чего?

– Ничего. Подождали, пока те ребята в машину к себе урожаем покидали и уехали, тогда только оставшуюся половину начали выкапывать. Мало ли, дураков хватает. А вдруг и правда пришибут там же на поле. С них станется – лопатой по затылку, и всего делов.

Соседка энергично закивала:

– И ведь не сделаешь ничего.

– Можно пугнуть или попробовать поймать, но... сама знаешь, что потом будет. Кого виновным выставят? Хозяина.

– Это да... Илья Иванович, а ты не надумал ещё дачу бросать? – вдруг спросила собеседница.

– С чего бы? – пенсионер даже остановился.

– Ну, мало ли. Дети и внуки уже выросли, в большом городе живут. Вам с супругой много ли надо? Всё в магазинах можно купить.

– Да тут такое дело... Ты, Петровна, когда на пенсию?
– Через два года.
– Во-от... С работы уволишься?
– Уволюсь, наверное. Зарплату сокращают всем, так что за копейки днями работать – нет уж, пусть будет пенсия по минимуму, проживу.

– Дача поможет?
– Ну, конечно, – женщина расплылась в улыбке. – Всё-всё! Поняла, для чего тебе дача.
– Не только. Ещё этакое лекарство от скуки и тоски. Сидеть дома неохота, а дача и время занимает, и едой обеспечивает.

– Вот и Анна Викторовна Самарцева, – Игнатова кивнула в сторону одной из дач, калитка которой была распахнута, а возле домика стояли вилы и лопаты, – до чего божий одуванчик, а всё туда же, к земле... Ну, в смысле, к даче.

– Да ладно, все мы к земле тянемся, – усмехнулся Илья, – поздороваться бы надо с одуванчиком. Собеседница кивнула и тут же громко, звонко, по-девчоночьи закричала:

– Анна Викторовна! Вы тут?

Из домика выглянула немолодая женщина. Худая, с маленьким морщинистым лицом, недовольно посмотрела на бредущих по аллее людей.

– Чего вам надо?

– Ой, извините... – Игнатова смутилась, – я думала, Анна Викторовна на даче работает.

– Умерла она. Ещё по осени, – бесцветно отозвалась женщина и снова скрылась в домике, застучал молоток.

Илье на ум тут же пришло странное сравнение: вот строили люди себе гнёзда, вили их. У кого-то простенькая избушка из фанеры, тонкая и лёгкая, как птичье гнездо, у кого-то – добротный скворечник. А теперь живут там совершенно иные птицы. Кто-то вырубит старые ели и сосны, посаженные первыми владельцами дач лет тридцать назад, лягут под топор яблони и вишни, на место которых посадят что-то новое. Каждый будет менять окружающий мир под себя. И так станет из года в год, из века в век меняться этот самый окружающий мир, ничего постоянного не оставляя.

– Извините, женщина... – широко улыбаясь, Илья Иванович шагнул к забору и громко добавил: – Можно вас отвлечь на секундочку?

Неприветливая хозяйка «скворечни» вновь показалась на крыльце, на этот раз с молотком в руках.

– Ну?

– Меня Ильёй зовут. Илья Иванович. Мы с вами теперь соседи.

– И что? – в голосе новоявленной соседки отчётливо различалось раздражение.

– Просто, – старик развёл руками, – хотел познакомиться. Мало ли...

Неловко развернулся, пошлёпал по грязи к стоящей поодаль спутнице.

– Анна, – ткнулся в спину растерянный окрик. – Меня Анна зовут.

Обернулся, посмотрел с прищуром.

– Вы извините, что я с вами так, просто мама... – И заплакала.

– Это вы нас извините, – Илья примирительно выставил перед собой ладони, попятился к велосипеду.

– Что это с ней? – не поняла Игнатова.

Илья Иванович хмыкнул:

– Пойдём-ка отсюда, Петровна.

– Это ты её, что ли, довёл?

– Нет, не я. Это она сама себя... – и пошёл по аллее.

Спутница догнала старика минут через пять:

– Да кто она такая?

– Дочка Анны Викторовны, – на ходу бросил Илья Иванович, – старшая.

– Это которая в Германию уезжала?

– Да.

– Вернулась, получается... А почему она плакала?

– Мать умерла, – буркнул Илья.

– Так мать-то давно умерла.

Старик вдруг остановился как вкопанный, и Игнатова едва не налетела на него.

– Ты чего, Иваныч?

Старик запрокинул голову, взглянул на небо, подёрнутое лёгкой рябью облаков.

– Скворчки... Слышишь? Поют, свистят.

Женщина прислушалась, едва различила редкое птичье посвистывание.

– Вот пришла она на дачу, – тем временем продолжал Илья Иванович, – зашла в избушку, а там всё как при матери: на столе перчатки рабочие лежат, на крючках вдоль стен спецовки...

– Ты это о чём?

– О жизни, Петровна. О жизни...

На кой

Андрей и Нина смолоду жили в своё удовольствие. Детей не заводили, предпочитая платить налог на бездетность, а зарплату тратить на себя. Красивая одежда, поездки по Союзу. Оказалось, без обузы в виде вопящих отпрысков жизнь красива и беззаботна. Да и сами они были как та жизнь – красивые, беззаботные, молодые. Годы шли, но родительский инстинкт, о котором так часто писали в журналах, не появился.

«Дети? – улыбался Андрей. – А на кой они мне?» Аргументы вроде «это же твоё продолжение» отметал тут же. Со временем сверстники и соседи женились, разводились, рожали детей, нянчили внуков. Жизнь вокруг кипела, но какая-то иная, сюрреалистическая. Пелёнки-распашонки...

Выходя во двор, Андрей привычно закусывал папиросу и по дуге огибал бельевую площадку, где трепыхались отбелённые простыни и детские чепчики.

– На кой они мне, дети?..

Годы шли. У сестры Андрея, Веры, родился сын. Поздний ребёнок, Вере на тот момент было за сорок, ей не советовали заводить детей в этом возрасте. Но она хотела.

– На кой он тебе? – спрашивал брат, дымя «Примой».

Но Вера тогда ответила, что ребёнок – это она сама, начавшая жить сызнова. Мужа у неё не было. Кто стал отцом ребёнка, неизвестно. «Сама родила, для себя», – говорила она брату. Он же считал, что Вера немногим отличается от него самого. Сам для себя – вот и всё, чем жил и на что ориентировался он и его супруга Нина. Только у Веры ребёнок – дитяtko, а у него с женой – машина, купленная на сэкономленные деньги.

Со временем начала пробиваться седина, Андрей оплыл, а супруга, в прежние времена стройная и красивая, начала неуклонно превращаться в сухую морщинистую старуху. Вещи они по-прежнему носили самые модные, жили лишь собой.

Почему-то начинались ссоры. На пустом месте. «Прожили тыщу лет, – думала Нина, – и вдруг цапаемся». А цапались по пустякам, ругались вдрызг, с битой посудой, красными от слёз глазами. Пару раз Андрей уходил ночевать в гараж, где у него был припасён антистрессовый шкалик.

– Это потому, что у вас детей нет, – сказала как-то Вера. Её сыну, Максимке, тогда было пять. Начались девяностые, и он качался на жалобно скрипящих советских качелях, тронутых ржавью, в великоватой футболке с американским флагом. Андрей и Вера стояли чуток поодаль, наблюдая за мальчуганом.

– А на кой мне дети?

– Вы друг друга любить устали, – натянуто улыбнулась Вера.

Она располнела, стала носить уродливые круглые очки, а вечно распушенные, порой вопреки приличьям, волосы остригла коротко, и они торчали ёжиком.

– А был бы ребёнок, думаешь, лучше было бы?

– Бы, да кабы... – она взглянула на мальчика, раскачивающегося на качелях. Футболка с заморским стягом трепыхалась на худом тельце, – в ребёнке ты себя видишь, учишь его, чтобы твоих ошибок не повторял, душу в него вкладываешь.

– А на кой? – это был уже не вопрос, а постоянная присказка, которой Андрей отгораживался от неудобных речей собеседников.

Он не понимал, зачем жене нужно рожать ребёнка, толстеть, дурнеть, а ему покупать для мелкого спиногрыза пелёнки.

– Андрюха, ты на рыбалку поедешь?

– Нет, у меня ребёнок температурит.

Мог ли он представить подобный диалог? Конечно, нет.

Правда, что уж теперь – обоим за пятьдесят, детей нет и не будет.

Они ругались всё чаще. Нина начала выпивать. Сначала втихую, с подружкой юности, у которой в Чечне погиб сын, потом одна.

– Ну и на кой нужны эти дети, если их потом убьют? – бросил как-то Андрей после очередной ссоры.

Жена зацепилась за сказанное:

– Да что бы ты понимал...

Он встрепенулся:

– Так ты что, ребёнка, что ли, хотела?

Она пожала плечами. Сухие, бесслёзные глаза смотрели не на мужа, а куда-то сквозь него, в невозвратную юность, когда подруга детства качала на руках своего маленького Вадика, позже погибшего в пылающем Грозном, а сестра мужа счастливо улыбалась, обнимая тонкими ручонками объёмистый живот. Живот она называла Максимом.

С соседями жили дружно. Кирпичный пятиэтажный короб замыкался на небольшой дворик, в котором целыми днями играли детишки, чинили машины отцы семейств, вывешивали бельё счастливые и несчастные дочери, матери, бабушки. В квартире над Андреем жила семья с маленьким ребёнком. Пацану было не больше лет, чем племяннику Максиму. Он постоянно бегал по квартире, вопил, громохал игрушками, отчего Андрей раздражался.

– Ну чё этот мелкий скачет, как сайгак? – зло шипел он, когда ребёнок в очередной раз топал над головами стареющей пары.

Жена не поддерживала его праведный гнев. Она вообще угасала.

Свой «Москвич» Андрей продал, точнее, обменял на продукты. Годы были не то чтобы голодные, но, вышедший на пенсию, он слабо представлял себе, как можно прожить на скудные копейки, которые платили с немалой задержкой. В пустом гараже вечерами гнали с соседом самогонку, пили её там же, не давая продукту наполнить ёмкость больше стакана.

В один из таких вечеров, пьяный в дым, Андрей вернулся домой и обнаружил у подъезда скорую помощь. Жену тогда увезли в реанимацию и едва отходили, но сама она с тех пор ходила лишь по квартире. Ноги отказывали.

Сам он тоже растерял здоровье – начал всё чаще болеть, потом вдруг, внезапно, был поставлен перед фактом – нужно ампутировать ногу и делать ряд болезненных операций. Двухтысячные ворвались в их жизнь чередой болезней. Андрей передвигался с трудом, как и супруга.

– В живот вставили трубку, чтобы я мог по нужде это самое... На кой так жить? – жаловался он. И пил всё больше, чтобы заглушить дикую боль. Пила и жена. А потом, напившись, они орал друг на друга, пока, осипшие, измученные, не засыпали.

– Знаешь, говорят – «бобыль». Вот вы с Ниной – бобыли, – сказала Вера, зашедшая как-то проведать брата.

Максим ждал её в машине. Выглянув в окно, Андрей не узнал племянника. Крепкий темноволосый парень за рулём белой иномарки. Совсем как он когда-то. Вот такой же мальчик мог быть его продолжением, мог ездить на его «Москвиче», который не пришлось бы продавать. Да ладно, ездил бы он! Продав бы «Москвич» и купил себе что получше.

– Чё это мы бобыли? – вместо согласия, выдал он желчно и зло.

– У вас кроме квартиры ничего нет, – сказала сестра, – вот сляжете – кто будет помогать? Кто стакан воды...

Дальнейшее Андрей знал. «Кто стакан воды поднесёт...» и прочие речи его бесили.

– А не надо мне воды... Ты сама на кой мне это говоришь? Хочешь квартиру оттяпать?

Тогда сестра обиделась, ушла, заглядывала потом пару раз, но и только. В завещании Андрей и Нина оставили пустую строку на том самом месте, где должно было значиться имя наследника. Поэтому, как лиса вокруг кувшина, ходила медсестра-сиделка, поэтому частенько заходили булдыри-соседи и внезапно образовавшиеся невесть откуда родственники.

– Я медсестричке всё отпишу! – орал пьяный Андрей, когда соседи отказывались принести ему водки.

– Всё соседу отдадим! – шамкала беззубым ртом Нина, когда сиделка ставила ей особенно болючий укол.

Так и жили – бобыли, каждый в своей скорлупе, в своих мыслях. Боли становились сильнее, мысли чернее и жгли порой сильнее боли физической. В пропахшей старостью и мочой квартире даже зеркала отражали стариков с неохотой. Они были одни. Каждый одинок, и ещё более одиноки вместе.

На новогодние праздники родственники позвали к себе. Позвали про-формо, ведь знали прекрасно, что старики не смогут выйти из дому, не то чтобы ехать на другой конец города. Незадолго до главного праздника перед подъездом многоквартирного дома появилась прислонённая к стене крышка гроба.

Хоронили Андрея под новый год. Тридцать первого декабря на окраине кладбища вырыли в мёрзлой земле могилу, опустили присыпанный снегом гроб. Провожать старика в последний путь пришло человек двадцать – соседи и медсестра-сиделка. Его жена – тяжелобольная, лежащая, не нашла в себе сил присутствовать на кладбище.

– Отмучился, – говорили мужики, опускавшие гроб на дно могилы. С заиндевелыми бородами, покрасневшими на морозе лицами они напоминали былинных богатырей.

– Отмучился, это верно...

– А Нина Сергевна как?

– Да... тоже недалёк её день. Что-то бурчит себе под нос...

Три месяца отвёл Господь Нине. Сиделка, не отходившая от неё последнее время, уверяла позже, что старуха совсем спятила. Просила позвать детей. Говорила, что они живут в другом городе и должны приехать на её похороны, привезти внуков.

– Внуков хочу увидеть перед смертью, – говорила и блаженно улыбалась.

В конце марта рядом с могилой Андрея вырос второй холмик. Как рассказывали соседи, квартиру старуха отписала Вере и её сыну. Кое-какие вещи завещала сиделке, но и только. На Родительский день прибираться на могилки приходит постаревшая, грузная Вера и высокий подтянутый парень – её сын. Иногда подходит к ним поговорить подруга Нины – та самая, сын которой похоронен на соседней аллее.

Седой

(Из цикла «Осколки»)

Основано на воспоминаниях моего деда, Тихонова Петра Александровича, старшины медицинской службы 89-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады разрушения РККА

Санька с отцом управились лишь к вечеру, когда холодные сентябрьские сумерки зализывали закатную рану. Заглянув в наполненный под горловину мешок, с трудом можно было различить ровные продолговатые картошины. «Поросята», как называла их мать Саньки, «лапти» – так именовал отец.

За день они вдвоём выпластали половину поля и теперь, присев на картофельную ботву перевести дух, поняли, как отяжелели, освинцовели ноги, а пальцы на почерневших, изжёванных мозолями руках перестали сгибаться.

– Дождь собирается, – жуя травинку, сообщил Санька, – успели бы наши приехать, а то вся картошка промокнет.

Его отец – невысокий кудрявый мужик в заношенной солдатской гимнастёрке навывпуск хлопнул ладонями по коленям:

– Ну, Санька, рассиживаться некогда. Давай оставшуюся картошку собирать, – он зашагал меж кучами ботвы, словно по полю боя, перепаханному взрывами.

Отец, это Санька точно знал, был ранен во время войны и контужен, потому каждый раз, когда старшина медицинской службы Пётр Скворцов надевал гимнастёрку, паренёк становилось не по себе. Отчего, он и сам не мог понять. Может, было страшно за отца, прошедшего с боями всю войну и оставившего запись на стене рейхстага. А может, он жалел себя – родившегося через восемь лет после Победы. Жалел, что не мог помочь отцу тогда.

Пока мальчик раздумывал, наблюдая, как с востока тянет кургузую, иссиня-чёрную грозовую тучу, отец собирал картошку в ведра, ловко ссыпал в мешки и тащил их через поле. Саньке казалось, что отец несёт раненых. Под обстрелом, сквозь кровавый кошмар. А рычит и храпит за спиной старшины вовсе не вечерняя гроза, но эхо канонады.

– Ну, чего расселся? – весело подмигнул сыну Пётр. – Давай хоть тряпки раскинем, накроем мешки, чтобы не залило совсем.

– Можно ботвы сверху накидать, – подсказал Санька и, гордый своей сообразительностью, потащил к мешкам мясистый бот.

– Накидай немного, – согласился отец. – И куда это они пропали? Можно уже пять раз всё скидать и вернуться!

Соседи, увёзшие в село часть урожая, уже должны были возвратиться, но их всё не было. Санька без труда читал на лице отца раздражение, да и сам переживал, успеют ли до дождя. Ему жутко становилось от одной мысли, что вместо вечерней баньки придётся рассыпать в сарае картошку для просушки. Пока отец завязывал мешки, Санька взглянул на ополовиненное ими поле, тянущееся к ослепительно-жёлтой даже в сумерках берёзовой рощице. Ещё денёк хорошей, тёплой осени, и урожай будет собран.

– Батя, там Седой, – указал в сторону рощи мальчик.

Худенькая пега лошадёнка тянула телегу с таким же худым, бледным мужиком. Тот, облачённый в просторный плащ с капюшоном, погонял лошадь, норовисто сходящую с накатанной дороги на травянистую обочину. Мужичка, тонувшего в глубинах объёмистого плаща, ни с кем нельзя было спутать – из-под капюшона выглядывали пряди белых волос, будто прихваченных первыми заморозками.

Пётр прищурился, стараясь разглядеть возницу, потом зло сплюнул:

– Этот ещё...

Неприязни отца к Седому Санька не понимал. Сёстры рассказывали, что сосед служил во время войны у немцев, но в девчачьи байки мальчик не верил.

– Здравсьте, Пётр Алексаньч, – поравнявшись со Скворцовыми, приветственно замахал им Седой. – Давайте помогу мешки вывезти. Всё равно почти налегке еду.

Отец ничего не отвечал. Молча стоял возле своего урожая, стиснув зубы, потом вдруг с затаённой яростью ответил:

– Не нужно, за нами сейчас приедут.

Седой пожал плечами:

– Ну, как знаешь... Хорошо бы, побыстрее приехали, а то вон буря надвигается.

И поехал в сторону села. Там уже зажигались огни, и ветер приносил едва различимый собачий лай.

– Он же мог нас довезти, – изумился Санька. – Почему ты не согласился?

Отец с минуту молча смотрел на сгущающиеся тучи, потом сказал:

– Я ему руки не подам, не то что помощь от такого принимать.

Мальчик лишь хлопал густыми ресницами, ничего не понимая.

– Он полицаем был, – пояснил отец, – во время войны. Жил где-то на Украине с матерью, когда немцы пришли.

– Так его потом не расстреляли?

Пётр горько усмехнулся.

– Как видишь... Они перебрались сюда после войны. Я когда с фронта пришёл, даже работал с ним на складе. Думал, он нормальный... А потом приехали двое в штатском, начали по селу ходить, выспрашивать. «Кто, – говорят, – этот человек, чем занимается, что рассказывает о военных годах?» Потом оказалось, что Седой полицаем был. Его – в машину, и повезли. Год прошёл, второй. Мать уже и ждать перестала. Двор зарос крапивой, запаршивел. Она, Санька, помирать собралась, когда Седой вернулся. Лет через пять после ареста, а то и через шесть.

– Выпустили? – опасливо оглядываясь на тучу, вспухающую розовыми высверками, спросил мальчик.

Отец кивнул:

– Он потом перед нами повинился, что сам никого не убивал, а на допросах всё рассказал про убийц, которые тоже улизили от правосудия. Его и отпустили. Правда, крепкий мужик вернулся больным, разбитым и седым как лунь. С тех пор его все Седым и кличут... Давай-ка ещё ботвы сверху накидаем.

Отец тяжело поднялся с мешков, захромал к куче. С ним такое бывало часто, – Санька не раз видел, как в пору непогоды отец, сжав зубы, терпел непреходящую боль. «Фронтные раны дают о себе знать», – говорил он и натянуто улыбался, чтобы не испугать ребёнка.

Начинало накрапывать. Тяжёлые холодные капли срывались с кромки замусоленной тучи и ударили в комковатую, сухую землю.

– А может, он и правда не убивал никого?

– Предателю не обязательно стрелять, – сказал отец и взглянул из-под руки на змеящуюся к селу дорогу. Там, в оседающей пыли, показалась соседская телега. Поравнялись с бывшим полицаем. Худой детина приветственно помахал, но соседи не ответили, и Седой поехал в село. А дождь шёл за ним. Затяжной, обложной, несущий недели непогоды.

Предателю не обязательно стрелять...